

18+

ДАРЬЯ ВАЛИКОВА

Чего почитать, если ничего почитать — 3



Дарья Валикова
Чего почитать, если
ничего почитать — 3

<https://litres.ru/74286109>

ISBN 9785007076173

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Если первая книга «Чего почитать...» была посвящена российским авторам, вторая — иностранным, то в третьей книге содержатся статьи и рецензии разных лет о представителях как той, так и другой литературы, а также впервые включён раздел о литературе детской.

Содержание

ИЗ ПАНТЕОНА	5
Страна из гнева и огня: поэзия Павла Васильева	5
Фронтовая молодость его: Сергей Наровчатов	24
Борис Можаев: Безграничность человеческого упорства	35
Борис Можаев: Хозяева и работники	57
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Чего почитать, если ничего почитать — 3

Дарья Валикова

© Дарья Валикова, 2026

ISBN 978-5-0070-7617-3 (т. 3)

ISBN 978-5-0070-7618-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ИЗ ПАНТЕОНА

Страна из гнева и огня: поэзия Павла Васильева

*А первым был поэт Васильев Пашика,
Златоволосый хищник ножевой—
Не маргариткой Вышита рубашка,
А крестиком — почти за упокой.
Я. Смеляков*

IX жизни своей он обращался так: «Я верю, что ты / Любила меня / И обо мне / Пеклася немало, / Задерживала / У чужого огня, / Учила хитрить / И в тюрьмы сажала; / Сводила с красоткой, / Сводила с ума, / Дурачила так, / Что пел по-щенячьи, / И вслух мне / Подсказывала сама / Глухое начало / Песни казачьей». И так ее заклинал: «Ну-ка, попробуй, жизнь, отвязи / Руки мои / От своих запястий!»

Пуля чекистского палача совершила это, когда ему было, подобно Лермонтову, неполных 27 лет. (Правда, по относительно новым данным, идущим вразрез с общепринятыми, Павел Васильев родился не 12 декабря 1910 года, а 25 декабря 1909 года (все по ст. стилю). В таком случае, следует считать, что жизни ему было отпущено приблизительно

27 с половиной лет.) По нынешним представлениям — возраст почти мальчишеский. Но сказать о нем «мальчик» язык не повернется, так много вместила эта жизнь происшествий, странствий и скитаний, а главное — стихов и поэм, талантливость которых в пору назвать «зверской».

Многие находили в нем сходство с Есениным, которое и впрямь существовало, заключаясь, помимо чисто внешних черт (буйный нрав, удаль молодецкая, пьянки со скандалами, аресты и даже общая златокудрявость), прежде всего в силе, яркости, в истинно народной основе поэзии. Однако налицо и серьезнейшие различия. Павел Васильев — человек уже другого поколения; все новое, включая пресловутый технический прогресс, его не пугает — влечет. Например, почти есенинское *«Я уж давно и навсегда бродяга...»* имеет у него продолжение, от которого тот наверняка бы содрогнулся: *«Но верю крепко: повернется жизнь, / И средь тайги сибирские Чикаго / До облаков поднимут этажи»*. Он способен говорить, обращаясь к матери:

«Мне так легко измять твою сирень, / Твой пыльный рай с расстроенной гитарой, / Мне так легко поверить, что живет / Грохочущее сердце мотоцикла»...

Даже крестьянский конь у него выступает не трогательным, обреченным жеребенком, но мощным коренником, который *«Стальными блещет каблуками / И белозубый скалит рот, / И харя с красными белками / Цыганская, от злобы ржет. / В его глазах костры косые, / В нем зверья стать*

*и зверья пруть, / К такому можно пол-России / Тачанкой
гиблой прицепить».*

(Что, машины надвигаются — по сколько-то там лошади-
ных сил каждая? И отлично, и пускай — так еще лучше!..)

Их с Есениным взрастила слишком несхожая почва, пото-
му и не сыскать в Васильевской палитре среднерусской ак-
варели; сплошь — густое масло.

Горячие песни за табунами
Идут по барханам на Ай-Булак,
И здорово жизнь козыряет нами,
Ребятами крепкими, как свежак.

Его иногда называют «русским азиатом», впервые, кажет-
ся, принесшим в отечественную поэзию дыхание несконча-
емых просторов Сибири, где *«От гор Алтая до Оби — / Ка-
зачьей вольницы станицы»*, и Казахстана — от Тобола до
пограничья, где подступают *«синие хребтины, желтый Ки-
тай...»* Благодаря ему читатель стихов из «коренной» Рос-
сии (и не только, конечно, из нее) смог узнать, что в да-
леких, пустынных, унылых степях, во всех этих *«мертвых
дорогах на Кустанай»* или каком-нибудь *«Семипалатинске,
городе верблюжьем»*, — бездна особой красоты и поэзии,
что в неких *«хуторах под Павлодаром»* можно, оказывается,
«колдовским дышать угаром»... Открылась вдруг особая
страна, где меж *«купецкими»* городами еще ходят верблюжьи

караваны, где пасутся огромные табуны и отары, где казацкие станицы соседствуют с аулами кочевников. Там казахов еще по старинке называют киргизами, там *«дуреет от яблонь весна в Алма-Ата»* (именно так — не в Алма-Ате!), там советуют: *«Привези ты ей в подарок / Башмачки из Харбина»*...

Все это — родина Павла Васильева, старшего из четырех сыновей «купеческой дочери Глафиры» и учителя Николая Корниловича, выходца из линейного сибирского казачества. Зная казахский язык, Васильев работал как с казацкими, так и с казахскими фольклорными темами. Иногда прибегал даже к мистификациям, сочиняя от имени не существующих в действительности лиц (*«Я, Амре Айтаков, весел был, / Шел с верблюдом я в Караганды»*, *«Я, Мухан Башметов, выпиваю чашку кумыса / И утверждаю, что тебя совсем не было»*). При всем том он довольно трезво оценивал историю взаимоотношений коренного населения и русских переселенцев — никаких мифов о безоблачно гармоничном существовании, навек осчастливленных туземцах и т. п.

«Вознесли города над собой — золотые кресты. / А кочевники согнаны были к горам и озерам, / Чтобы соль вырубать и руду и пасти табуны. / Казаков же держали заместо дозорных собак / И с цепей их спускали, когда бунтовали аулы».

Об этом у Васильева можно найти разные свидетельства — от показательной реплики: *«Ты скажи-ка, паря, мне, по*

какому праву / Окаянно кыргизье косит наши травы?» — до ужасных сцен казачьих расправ над бунтующим казахским населением.

Характерный диалог:

— Где ты был,
Табашный хахаль?
Не видала
Столько дней!
Из ружья
По уткам
Ахал
Иль стерег
В лугах
Коней?
(...)

— Не ласкай
Рукой ослаблой
И платочком
Не махай!
Я в походе
Острой саблей
Сек киргизский
Малахай!

И все же, и все же — не захочешь, а поверишь в евразий-

скую идею после таких, например, строк:

В этот день поет тяжелей
Вороной лошадиный пах, —
Полстраны, заседлав лошадей,
Скачет ярмаркой в Куяндах!..

Пьет джигит из касэ, — вина! —
Азиатскую супит бровь,
На бедре его скакуна
Вырезное его тавро.

Пьет казак из Лебяжья, — вина! —
Сапоги блестят — до колен,
В пышной гриве его скакуна
Кумачовая выюга лент.

А на седлах чекан-нарез,
И станишники смотрят — во!
И киргизы смеются — во!
И широкий крутой заезд
Низко стелется над травой...

В стихотворении «Азиат» к кочевнику, глядящему на горожанку, он обращается как представитель совсем другой культуры, терпеливо разъясняя тому, что, мол, «*Ни за какой*

большой калым / Ты этой женичины не купишь», ибо «Здесь люди чтут иной закон / И счастье ловят не арканом!» Но при этом добавляет: «Хоть волос русский у меня, / Но мы с тобой во многом схожи...», «Вот погоди, — другой придет, / Он знает разные манеры / И вместе с нею осмеет / Степных, угрюмых кавалеров». Упомянутый Мухан Башметов (Васильевская мистификация), этот друг степей — казах, сетует по поводу покинувшей его красотки: «Я, Мухан Башметов, выпиваю чашку кумыса / И утверждаю, что ты совсем безобразна, / А если и были красивыми твои рыжие волосы, / То они острижены тобой совсем безобразно». И далее в том же духе, а в конце концов вздыхает искренне: «Я, Мухан Башметов, выпиваю чашку кумыса, — / Единственный человек, которому жалко, / Что пропадает твоя удивительная краса / И никому ее в пыльном городе не жалко!»

Уж эти богемные горожанки!.. Одна из них будет вскользь сатирически нарисована Васильевым аж в «заболоцком» стиле: «В углу / Пять пьяниц толсторожих / Сидели, обнявшись... / Кружок / Их был украшен юной девой, — / В шелку ее кипела плоть, / Она держала кружку в левой, / А в правой ветчины ломать». То ли дело простая, родная станичная Анастасия, что снится «в лентах, в серьгах, в кружевах». Однако и с ней почему-то в конце концов ничего путного не выходит, остается вопрошать: «Настя, Настенька, Анастасия, / Почему душа твоя темна?» — и, ответа не дождавшись, в сердцах резюмировать: «Дура в лентах, серьгах и

шелках!»

Да, каких только женских образов не встретишь в его любовной лирике. Тут и таинственная *«лесная княгиня»*: *«У нее в малине губы, / А глаза темны, темны, / Тяжелы собачьи шубы, / Вместо серег две луны»*. И «комплексы», как говорится, отсутствуют: *«Одного себе оставишь / И забудешь о другом»*. И покорная добродетельная жена, коей позволено изменять, объясняясь потом с восхитительной мужской простотой: *«Ничего, дорогая! Я баловал с этой, / Ни на каплю, нисколько ее не любя»*. Тут возможны разные отношения: от *«Даже во сне мне / Не прекословь»* (о чем, кажется, и не помышляется!) до — *«Отвечала подруга: / „Нет, / Я люблю сразу двух, и трех, / И тебя могу полюбить, / Если хочешь четвертым быть“»*.

Но центральной фигурой суждено было стать Наталье — реальной писательнице Наталье Кончаловской. Дочь художника Кончаловского, внука Сурикова; впоследствии наиболее известная как матриарх августейшего михалковского семейства, а тогда, в «Васильевское» время, — просто молодая, красивая, свободная женщина, уже успевшая «завоевать» Америку и вернуться на родину. По ее свидетельству, *«степной угрюмый кавалер»* взаимности не получил, чем был немало озадачен и раздосадован. *«Признаю все, что тобой любимо, / Радуйся, Наталья, веселись!»* — такое давалось непросто, взять хотя бы чуждые его духу иностранные штучки вроде румбы или фокстрота, к которым та име-

ла пристрастие:

Есть своя повадка у фокстрота,
Хоть ему до русских, наших, — где ж!..
Но когда стоишь вполоборота,
Забываю, что ты де-ла-ешь...

Никакие признания, однако, не помогали; оставалось дать волю воображению и писать стихи о счастливой любви — «Стихи в честь Натальи». Много воздаётся там любимому *«телесному избытку»*, но не менее проникновенно сказано об улыбке:

А улыбка — ведь какая малость! —
Но хочу, чтоб вечно улыбалась —
До чего тогда ты хороша!
До чего доступна, недотрога,
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа.

Она предстает как бы главной российской Невестой: *«Прогуляться ль выйдешь, дорогая, / Все в тебе ценя и прославляя, / Смотрит долго умный наш народ, / Называет «прелестью» и «навой» / И шумит вослед за величавой: / «По стране красавица идет»».*

...И в июне в первые недели
По стране веселое веселье,
И стране нет дела до трухи.
Слышишь, звон прекрасный возникает?
Это петь невеста начинает,
Пробуют гитары женихи.

Однако хотелось бы вернуться пока назад, к истокам этого творчества. Детство Павла Васильева пришлось на революцию и гражданскую войну. О том, чем была первая для обильного казачьего края, он недвусмысленно скажет в «Автобиографических главах».

Да, гневные страницы прокламаций
До нас тогда, товарищ, не дошли.
Да если б даже! — и дошла одна,
Всяк, повстречав, изматерился б сочно
И к приставу немедленно отнес.
Был хлеб у нас, хватало и вина,
Стояла церковь прочно, рядом прочно —
Цена на хлеб, на ситец, на овес...

То, что последовало за революцией, будет отражено ярко и объемно; вот лишь беглая зарисовка прихода в город красных: *«Война гражданская в разгаре, / И в городе неожиданный гам, — / Бьют пулеметы на базаре / По пестрым бабам и*

*горишкам (...) / И кто-то уж пошел шататься / По улицам
и под хмельком, / Успела девка пошептаться / Под бричкой
с рослым латышом. / И гармонист из сил последних / Поет
во весь зубастый рот, / И двух в пальто в овраг соседний /
Конвой расстреливать ведет».*

*А вот подробная ностальгическая картина: «Пес на крыль-
це парадном, ласковый и косой, / Верочка Иванова, вежли-
вая, с косой, / Девушка- горожанка с нерасплетенной косой, /
Над Иртышем зеленым чаек полет косой. / Верочка Ивано-
ва с туфлями на каблуках, / И педагог-словесник с удочками
в руках. / Тих педагог-словесник с удилищем в руках, / Небо
в гусиных стаях, в медленных облаках... / Это ли наша ро-
дина, молодость, отчий кров, — / Улица Павлодарская —
восемьдесят дворов? / Улица Павлодарская — восемьдесят
дворов, / Сонные водовозы, утренний мык коров...»*

И дальше:

Пики остры у конников, память пики острей:
В старый, горбатый город грохнули из батарей...

Однако, как сформулировано исследовательницей Васи-
льевского творчества Л. Чащиной, — он, «сформировав-
шийся как личность после Октября, революцию и социали-
стическое строительство воспринимал как данность и нико-
гда сознательно этой данности не сопротивлялся». (Что сле-
дует помнить, ибо есть теперь охотники игнорировать эту

очевидность и представлять Павла Васильева чуть ли не борцом с погубившим его режимом, при этом не уставая выискивать мельчайшие соринки в глазу тех, кто гораздо более подходит к такому званию.) Так что ныне, читая его стихи и поэмы, можно просто удивляться той злобной на них реакции от большей части критики и «писательской общест-венности», которой он был встречен в Москве (куда после странствий по Сибири и Дальнему Востоку окончательно перебрался в конце 20-х годов) и которая продолжалась вплоть до его гибели.

Казалось бы, сплошные у парня Турксибы, колхозы-совхозы, прокатные цеха, красные знамена и красные же армейцы, да так свежо, сильно, образно, что в пору б только радоваться и провозглашать его лучшим и талантливейшим из молодых поэтов времен Великого перелома... Какое там! Певец контрреволюционного казачества, кулацкий подголо-сок, реакционер — такими ярлыками был увешан, и даже признательность со стороны важных большевиков (например, Луначарского, Куйбышева) не помогала.

Что ж, видно, не обманешь пролетарскую критическую шатию, а самого себя и подавно. И пускай провозглашены будут им в «Песне о гибели казачьего войска» страшные призы-вы:

«Пусть он отец твой, и пусть он свой брат, / Не береги для другого заряд... / Крепче бери стариков на прицел, / Голову напрочь — и брат и отец». И пускай веселым гимном

Красной кавалерии «Песнь» эта завершится. Все одно — ощущение тяжелой трагедии останется, а не победного торжества. Что это, как не своего рода саботаж?

А вот это из поэмы «Кулаки»:

— Что ж колхоз,
А в колхозе — толку?
Кони — кости и гиблый дых,
Посшибали лошажи холки,
Скот сгубили, разязви их!
Разгнездились на провале:
— Ты работай, — а власть права,
Тот работал, а эти взяли,
Тоже, язви, хозяйева.

Мимо сена,
И с ходу в воду.
Нет копыт, не то чтобы грив.
Объявили колхоз народу,
А народ кругом супротив.

Как можно давать слово такой правде — хоть бы и в устах отрицательного персонажа? Или — мир купцов-золотопрмышленников в поэме «Синицын и К°», которые, осваивая дальние сибирские края, эту «русскую Америку», *«Избегая / Сомнения и наук, — / Во имя отца, И Сына / И святого*

духа / работали, не покладая рук...» Рисуя мощную фигуру русского капиталиста, предпринимателя Артемия Синицына, который уже молодым вызывал восхищенный шепот («*Можно сказать, двадцать восемь лет, / И такие, можно сказать, / Размах!*»), ибо: «... не копил, / он крутил обороты / — *И Деньгу работать гнал!..»*), Васильев иронически замечает:

Он дьяконов
Мог заставить
Славу петь:
«... Слава пресвятому
Оборотному капиталу—
Родителю богатств,
Машин и красот.
Да преклонятся перед ним
От стара до мала,
Да увеличится
И возрастет!»

Однако благодаря этому высмеиваемому капиталу в самые медвежьи углы приходят торговля и мельницы на парах, пароходы и американские драги для золотодобычи... Последняя распределяется так: «*Треть — государству, / Треть — для прочих / И Артемию Федулычу третья треть!*»

Оттого:

Зейск же расцветал.
Под самыми приисками
Цветом, невиданным
В этих местах,
По улицам,
Одетым в гололобый камень,
Рысаки проходили
В белых бинтах...

И так далее. Закончится же все известно чем — штыком в горле. (Случайно или нет, но не свой почему-то рабочий загонит его хозяину, а революционный матрос аж с Выборга. Но это — к слову...) Естественный финал для поэмы, напечатанной в «Новом мире» за 1934 год. Да только, опять же, — не воодушевляет что-то, не оставляет при всем авторском старании ощущения полнейшей исторической правоты. Там, где нет и не может быть сопротивления сознательного, — выплывает подсознательное, внутреннее.

Он не мог не быть искренним приверженцем Советской республики, *«страны из гнева и огня»*, *«страны мечтаний и побед»* — и в силу молодости, и в силу романтичности натуры, приветствующей ее, Республики, вечную «неустаканенность», стремление к чему-то дотоле неведомому, да и просто «потому, что другой не видал», будучи в семнадцатом году еще ребенком. Но не мог и не хотел изображать дей-

ствительность только в красных и белых тонах, как того требовала идеология, — вот и воспринимался как внутренний враг. А с этим не шутили. Вплоть до того, что угрожали в открытую:

Ой, поздно, не вовремя пташка запела.
Что мы порешили — не перерешить.
Смотри, как бы кошка тебя не съела,
Смотри, как бы мне тебя не придушить.
Будешь лежать ты, общипанный, длинный,
Рукой прикрывая свой хитрый глаз.
Ибо, как буря, наш лозунг единый:
Кто с нами не хочет — тот против нас.
(Михаил Голодный)

В ответ на злобные нападки рождались горькие (и только недавно обнародованные) строки: *«Что вы меня учите / Лизать сапоги? / Мой язык плохого прибавит гляцу. / Я буян смиренный — бить не могу, / Брошу все, уйду в разбой, в оборванцы»*... У него свои «комиссары в пыльных шлемах», и только им он верен: *«Кутайтесь в бобровых своих поэмах, / Мы еще посмотрим на вас в бою, — / Поддержат солдаты с звездою на шлемах / Раненую песню мою»*.

Нет, понимание, к счастью, при жизни он все-таки имел. Клюев, Клычков и другие поэты есенинского круга, еще уцелевшие к моменту вхождения Васильева в литературу, сра-

зу приняли и высоко оценили. Им восхищался Пастернак. Впрочем, цену он себе и сам знал отлично — даже, бывало, и заносясь...

Конечно, такого яркого таланта и вопиющей независимости недруги простить не могли. Сначала, не удовлетворясь газетной травлей, науськали главу советской литературы — старика Горького. После его ругательной статьи «О литературных забавах» Васильева исключают из Союза писателей. За тем, придравшись к пьяному скандалу на бытовой почве, призывают к расправе над ним открытым письмом (20 подписей). Судят «товарищеским» судом, упекают в тюрьму почти на год. Выйдет он оттуда на короткий срок, чтобы потом уже сгнуть в застенках окончательно: в феврале 37-го года будет арестован по свежему и оригинальному обвинению — подготовка покушения на товарища Сталина — и 15 июля того же года приговорен к расстрелу.

В тюрьме им было создано поразительное «Прощание с друзьями». Никто обычно не в силах удержаться, чтобы не процитировать концовку; автор этих строк не исключение. Поэт представляет, как отправят его куда-то далеко на Север и как будет он там вести беседу со ссыльными мужиками:

...Я же им отвечу всей душой:
«Хорошо в стране нашей — нет ни грязи,
ни сырости,
До того, ребятушки, хорошо!

Дети-то какими крепкими выросли.
Ой и долог путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени — по колени травы.
Будет вам помилование, люди, будет,
Про меня ж, бедового, спойте вы...»

А начинается — с обращения к близким:

Друзья, простите за все — в чем был виноват.
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.
Ваши руки стаями на меня летят —
Сизыми голубицами, соколами, лебедями.

Посулила жизнь дороги мне ледяные —
С юностью, как с девушкой, распрощаться у колодца.
Есть такое хорошее слово — родная,
От него и горюется, и плачется, и поется...

Покаянная интонация, кажется, не напрасна. Человек он был, судя по всему, большой, широкой души и — скверного характера. Такое сочетание, впрочем, у нас не редкость, да и вообще, как известно, народ грехи прощает за стихи. Хотя бы за такие строки:

Мы еще Некрасова знавали,
Мы еще «Калинушку» певали,

Мы еще не начинали жить...

А что, если — впрямь?.. Хотелось бы верить: подлинные поэты — они ведь всегда провидцы.

Фронтовая молодость его: Сергей Наровчатов

«Было время — шаг печатав, / Был солдатом Наровчатов. / Так, печатав и печатав, / Стал поэтом Наровчатов» — сей эпиграммой отметил (припечатал?) в оно время самый известный пародист-современник. Что ж, «шаг печатать» ему, действительно, довелось изрядно. Сначала на Финской войне — добровольцем от Сокольнического райвоенкомата города Москвы (из призывавшихся там сорока с лишним человек вернулось, кроме него, ещё трое), куда явился со студенческой скамьи знаменитого ИФЛИ. Как полагалось в той кампании, получил сильное обморожение; в своих юношеских стихах распростился с романтикой, ибо: *«... мы многое узнали, / То, чего вовек не надо б знать»*.

«Но молодость, — как писал впоследствии, — быстро взяла своё, и к началу новой, на этот раз великой, войны мы были опять готовы к испытаниям». (Здесь и далее цит. по: Наровчатов С. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1985.) Об этом — его стихотворение 1941-го года «Отъезд».

Проходим перроном, молодые до неприличия,
Утреннюю сводку оживлённо комментируя.
Оружие личное,

Знаки различия,
Ремни непривычные:
Командиры!

...

Семафор на пути отправление маячит.
(После поймём — в окруженье прямо!)

А мама задумалась...

— Что ты, мама?

— На вторую войну уходишь, мальчик!

На этой войне, помимо окружения и отступления, был блокадный Ленинград и прорыв блокады, страны Прибалтики, Польша и, наконец, встреча Дня Победы в Центральной Германии. И при всём этом — *«Физически судьба меня удивительно щадила — одна лёгкая царапина от пули за всю войну! Нравственно же она пощады не давала никому, и я тут не стал исключением»*. Военные стихи — главное в его творчестве — писались в основном практически «без отрыва от фронта».

Ныне довольно трудно представить человека, который бы стал с ними знакомиться просто так, не «по программе» (да

и есть ли там?..) или вне связи с приближающейся круглой датой Дня Победы. А жаль; многие из них относятся к замечательной поэзии и самоценны вне всякого «прикладного» значения.

В этих военных стихах присутствует, как полагается, тема ненависти и справедливого возмездия: *«Крови своей, своим святыням верный, / Слова старинные я повторял, скорбя: / Россия, матери! Свете мой безмерный, / Которой мстью мстит мне за тебя!»* Воспеваётся преследование врага: *«На нём железный крест брел, / Был сам он розов и упитан... / Я целый диск в него вогнал / И лишь потом признал убитым»*, ликование атаки: *«Ещё три залпа по сволочам! / И вот, в одиннадцать сорок / Врываемся первыми из волховчан / В горящий Первый посёлок»...*

И всё же на первый план выходит другое. Сталин, как известно, вернул тогда армии слово «офицер» и прочие дооктябрьские понятия; Наровчатов так писал об этом: *«То, что сейчас стало привычным, — мы не мыслим, особенно молодёжь, другой военной формы: погоны, знаки различия, звания и т.д., — для нас было внове и окружённым романтикой. Это была как бы обращённость к поэтической традиции 1812 года <...> к романтике русской армии, офицерской удали — ведь и та война именовалась Отечественной!»* Что диктовало советскому офицеру строки несоветского звучания, такие, например:

Где ночами белолицые метели,
Словно девушки, гоняются в горелки,
Где — коня в опор, стрелой лети до цели —
Десять дней скакать до ближней перестрелки,
Где лишь в пору медведям одним да рысям
Жить, не ведая ни горя, ни напасти,
Там живу я, ожидая Ваших писем,
Как большого незаслуженного счастья...

Старинная куртуазность вполне органично вписалась в реалии совсем другой военной поры.

Пусть и вправду тяжело сейчас на Висле,
Пусть идти нам нынче снова в штыковую,
Мне спокойней будет на сердце от мысли,
Что тревогой я Вам душу не волную.

В другом стихотворении он сам вопрошает и отвечает, откуда берётся эта тяга к той старине.

...С чего я вдруг узнал себя и Вас
В любовниках поры Екатерины?
С чего б я это? Но, мой милый друг,
Неужто Вы заметить не сумели,
Что мне осточертел Мариенбург,
Где я торчу четвёртую неделю?..

В самом деле, названия и реалии, обступившие в Европе, не могли не напоминать о чём-то уже хорошо подзабытом, известном то ли из романов, то ли из рассказов старших. Весьма, должно быть, непривычно и захватывающе интересно было юноше из-за железного занавеса оказаться в старинном польском городке, куда следовало верхом доставить в штаб *«засургученный наспех пакет»*, после чего: *«Да трёхдневный хозяину отдых, / Да полночный хмельной разговор, / За который четыреста злотых / С нас заломит любой живодёр. / Да убогие „склепы“ да лавки, / Где по полкам мети хоть метлой, / Да сосед — подпоручик в отставке / С подпоручицей молодой...»*

А каким захватывающим по новизне зрелищем представляли такие картины:

...Вёл колонну итальянцев однорукий серб,
Под норвежским флагом фура проплелась пыля,
И мне честь, шагая мимо, отдал офицер
В непривычном мне мундире службы короля.
Шли цивильные поляки — пёстрая толпа!
Шёл француз под руку с чешкой — пара на большой!
Их вчера столкнула вместе общая тропа,
Завтра снова их наделит разною судьбой...

Всем пройденным землям будет отдано должное, и *«глу-*

хим урочищам Литвы», и Земгалии с Латгалией, что «над Даугавой, будто сёстры, обнялись», и стране «рослых эстов», и «поверьям мазовецкой стороны», и «златоустой молве» Полесья... Славянская тема вообще займёт особое место в наровчатовских стихах, да и как же иначе, если: «От Урала и до Балкан / Крепнет братство грозное снова, / Многославное братство славян». В те самые годы и Пастернак, например, приветствовал то, как «Весеннее дыханье родины / Смывает след земли с пространства / И чёрные от слёз обводины / С заплаканных очей славянства»... Наровчатов, находясь непосредственно «там, где древних славянских родин / Неуёмная ширилась речь», отмечает, что русские солдаты уже «дарят Эльбу именем Лабы, / Мекленбург в Младобор крестят»...

Но Польша с её особенным колоритом, «где пророчит, по словам седых мазур, / Матка Бозка Ченстоховска добрый путь», кажется, произвела на него самое незабываемое впечатление, вдохновив на цикл «Польские стихи» и другие, вне этого цикла, стихи о ней же. Допустим, целая баллада «Праздник в Цеханове», лирический герой которой восторженно повествует о только что освобождённом городе, где «над каждым встречным домом, над венцами древних башен, / Как над каждым честным сердцем этой горестной земли, / Кровью, пролитой по снегу, кровью польской, кровью нашей / Флаги Речи Посполитой бело-красные цвели». Дальше начинается прямо-таки старинная сказка.

На скрещенье узких улиц — Маршалковской с Кастелян-
ной

Я увидел дом из камня прочной кладки давних дней,
Здесь меня судьба настигла, повстречав глазами с панной,
Что стояла неподвижно у резных его дверей.
Если б с звёздами сравнил я ослепительные очи
И посмел сравнить со снегом белизну её лица,
Звёзды крикнули б спасибо, рассиявшись среди ночи,
И растаял снег от счастья у январского крыльца.
Словно вышла мне навстречу молодая королева
Из крылатого сказанья незапамятных времён,
Ведь недаром на сугробе сбитый с древка силой гневной
Распластался флаг враждебный, как порубленный дракон.

«Королева» произнесёт: «Про'шу вас зайти до дому, незнакомый офицер»; в доме её отец, «схожий с оржелом старинным ягеллоновских монет», объяснит, почему та «у резных ворот стояла»: «Потому что приказал я, кто бы ни был первый русский, / С ним вино любви и братства я тот-час же разопью». Что и происходит далее — так рисует Наровчатов прямо с натуры картину восторженного единения поляков и русских. Которое, как мы знаем, было не столь уж долгим — но ведь было же!..

Точно так же — пускай нам теперь и известно, что для многих стран приход наших войск обернулся отнюдь не

идиллией, — это ничуть не отменяет справедливости пафоса уже цитированной выше «Дороги в Тчев».

Шёл старик в опорках рваных, сгорблен, сед и хром,
С рюкзаком полуистлевшим на худой спине.

«Где батрачил ты? — спросил я. — Где свой ищешь дом?»

«Я профессор из Гааги», — он ответил мне.

Шла девчонка. Платье в клочья, косы — как кудель...

«Вот, — подумал я, — красotka с городского дна».

«Как вы хлеб свой добывали, о мадмуазель?»

И актрисой из Брюсселя назвалась она.

...

Так и шли людские толпы. Что там толпы — тьмы! —

Всех языков и наречий всех земных племён.

В эти дни земле свободу возвращали мы,

В эти дни был сломлен нами новый Вавилон.

Война стала для него самым главным событием, самым важным временем жизни. Как ни заклинал: *«Так гори, во- веки не сгорая, / Так бушуй же, силы не тая, / Молодость без удержу и края, / Фронтовая молодость моя!»* — миром кончаются войны. Лучшее было им написано во время войны и по её горячим следам. Дальше, увы, в стихах появляется слишком много дежурного пафоса, риторики и всевозможных *«светочей всех вселенных — КПСС»*, громогласных голосований *«за советскую власть»* и прочих хотений, *«чтоб*

видел старый Маркс, как мы сейчас бушем на планете»... Были, разумеется, и удачи вроде программного «Утверждения» (*«Мне всегда казалось слишком скушным / Применяться к дошлым или ушлым»*) или стихотворной баллады «Пёс, девчонка и поэт». Или — знаменитого стихотворения «О главном», написанного в 70-м году, а вспоминающего, опять же, бесконечное сидение под дождём в ожидании наступления. Когда солдату кажется: вот, только кончится война — тут-то наконец всё и начнётся...

Тогда — то, главное, случится!..

И мне, мальчишке, невдомёк,

Что ничего не приключится,

Чего б я лучше делать смог.

Что ни главнее, ни важнее

Я не увижу в сотню лет,

Чем эта мокрая траншея,

Чем этот серенький рассвет.

Впрочем, помимо феерических ожиданий, проскальзывало ещё в те военные годы и нечто почти пророческое: *«В скушиноватом, размеренном мире, / С неразменной, как медь, женой / Будет век в коммунальной квартире / Доживать капитан отставной»...* Судя по всему, что-то в этом духе выпало и самому поэту. Молодой фронтовик-герой, зо-

лотоволосый и синеглазый красавец стал сдавать достаточно быстро, страдая извечной русской болезнью; к первоначально процитированной нами эпиграмме можно добавить «николайглазковскую»: «*От Эльбы до Саратова / От Волги до Курил / Сергея Наровчатова / Никто не перепил*». (Уж к месту ли, не к месту, но приходит на ум ещё и эпизодическое упоминание некоего «*отставного начпрода Нравоучатова*» у раннего Вознесенского...)

Впрочем, при всём при том Наровчатов много путешествовал, много печатался, занимал разные ответственные должности. Последней и самой важной была должность главного редактора журнала «Новый мир». Специфическое место работы для периода глухого застоя! До сих пор много недовольных — почему не «давал» того, не «пробил» этого и прочее, и прочее. Но одновременно — и благодарных за то, что «поспособствовал». Иначе и быть не могло, учитывая обстоятельства времени и места. А один только факт напечатания в подведомственном журнале в 1980 году (!) поразительной антибольшевистской повести «позднего» Валентина Катаева «Уже написан Вертер» (и с тех пор издаваемой редко, не вошедшей в собрание сочинений) говорит сам за себя.

И наконец, надо отметить следующее. Мало, согласитесь, маститых авторов, способных на излёте своего творческого пути чем-то удивить читателя, выдав вдруг нечто принципиально для себя новое. Наровчатову удалось. Незадолго до смерти он совершенно неожиданно выступил в качестве

прозаика, опубликовав в «Новом мире» два исторических рассказа: «Абсолют», где действие происходит во времена Екатерины II, и «Диспут» — о временах Раскола. Рассказы яркие, запоминающиеся. Кто знает, к чему привели бы его дальнейшие эксперименты в прозе?..

Он умер в 1981 году; в текущем же октябре — юбилей. Самое время вспомнить и перечитать.

Борис Можаев: Безграничность человеческого упорства

Не так давно один из критиков попенял вослед ушедшему из жизни Борису Можаеву, что тот до самого конца лишь негодуяще высмеивал «обыкновенное советское головотяпство», продолжающее махровым цветом цвести на родных просторах, вместо того чтобы оплакивать «ломающиеся тенденции жизни». Однако всем действительно, а не понаслышке знакомым с творчеством этого писателя было бы странным обнаружить его на такой стезе — так же, как странным видеть некоторых знаменитостей, до перестройки недвусмысленно оппонировавших существующему строю со всеми его тенденциями, а ныне провернувшихся на 180 градусов и не только проклинающих сегодняшнее положение дел — это-то как раз и понятно, — но и демонстрирующих тяжёлую форму ностальгии по золотым застойным (и ранее) временам.

Можаев-прозаик и Можаев-публицист, при всей любви к оптимистическим финалам, в произведениях своих показывал глубинное неблагополучие той жизни и передавал стойкое ощущение, что всё её «развитие» ведёт прямиком в тупик. Хотя, конечно, и здравый крестьянский смысл, и внутренняя писательская трезвость и честность восторжествовали не тотчас, как перо было взято в руки.

Он входил в литературу, как повелось, в качестве поэта, и стихотворная его книжка, первая и последняя (1955), пестрела, к примеру, такими шедеврами начинающего автора: *«Нажива — вот его стремление! / Убийство — вот его закон! / Таким шлёт деньги Вашингтон, / А Ватикан — благословенье...»* и далее в том же духе.

Его прозаические вещи, написанные в 1950-е годы, в основном можно назвать вполне типичными для литературы того времени, где господствовал дух своего рода оптимистического идеализма, где если и звучали ноты критического отношения к действительности, то достаточно негромко, адресуясь обычно к проблемам, лежащим на поверхности, и потому не выходили из рамок критики «отдельных недостатков», не способных нарушить бодрый темп коммунистического строительства. Таковы, к примеру, лирический рассказ «Маша» (1957), или рассказ о новичке-сталеваре «Встреча с огнём» (1955), или детективная повесть «Власть тайги» (1954), где носитель сего прозвища старшина Серёжкин почти в одиночку раскрывает готовящуюся аферу некоего Рябого, главы шальной бригады сплавщиков и грозы всей округи, — и, разумеется, обезвреживает его...

Но в 1956 году Можаяев пишет повесть «Тонкомер», где уже наметились проблемы, которыми он будет заниматься в дальнейшем творчестве. Повесть была не только и не столько о варварском обращении с тайгой при плановом хозяйстве (эту тему он станет впоследствии развивать в таких про-

изведениях, как рассказ «Лесная дорога» (1964), детективные повести «Пропажа свидетеля» (1969) и «Падение лесного короля» (1975) и пр.), губящем и природу, и людские судьбы. Силаев, главный герой «Тонкомера», пытается бороться с преступной практикой леспромхозовских порядков и — вопреки соцреалистической традиции — не побеждает. Напротив, он теряет при этом всё: работу, семью, жильё, здоровье, превращаясь, по сути дела, в бомжа (или, точнее, — так называемого бича). Следует сразу отметить, что в вышеизложенном варианте повесть смогла выйти лишь в 1984 г. Впервые же, в 1959 г., она была опубликована в виде рассказа с почти счастливым концом: справедливый райком партии восстанавливает-таки героя на работе, где тому лишь остаётся наводить там порядок под его чутким руководством. Впрочем, такие маневры не могли обмануть тогдашнюю критику. Один рецензент комментировал: «Разумеется, при помощи райкома партии позднее положение было выправлено, восторжествовали прогрессивные методы лесоразработок, но всё это делается скороговоркой, „под занавес“, не рассеивает мрачного тона рассказа». В окончательном варианте «Тонкомера» Можаяев уже мог ограничиться совсем формальной концовкой, которая вряд ли могла кого-нибудь обмануть: напрочь выброшенный за борт жизни Силаев лишь утверждает, что намеревается вылечиться и снова возобновить свою борьбу... Важно отметить, что выступает он в качестве идеалиста-одиночки — в противостоянии «верхам»

союзников у него нет. «Низы», притерпевшиеся к существующим порядкам, часто даже находят в том свою выгоду, и редкие возмутители спокойствия вызывают обычно лишь досаду и раздражение.

Повесть, однако, не ограничивается линией борьбы одинокого бунтаря с общественной косностью. Очень показателен в «Тонкомере» ещё один персонаж, лаконично охарактеризованный тем же рецензентом как «тёща, по роду занятий спекулянтка». В первой редакции повести отношение автора к вышеупомянутой тёще аналогичное, пускай и без сильной категоричности. О ней и её дочерях Силаев сообщает: *«Вообще они умели заработать на всём: на рукоделье, на огороде, на молоке (...) Закваска уж такая — деревенская, что ли, кто её знает! Тогда мне, потомственному пролетарию, уж как всё это не нравилось!..»* К восьмидесятым годам российский города давно страдали от нехватки огородной, молочной и прочей продукции, а бессильное государство в лице своих идеологов растерянно заклиало эту самую деревенскую закваску, непонятно куда испарившуюся, вернуться назад. Можаяев тоже активно занимался розысками её остатков, посвящая этому многие страницы своей прозы и публицистики, и в «Тонкомере» -1984 тёща уже недвусмысленно берётся автором под защиту. Силаев сетует, что, мол, всю его любимую сирень да акацию повырубали ради прибыльных яблонь, а цветы заменили неромантичные гряды с огурцами. А собеседник (альтер-эго автора) ему возражает — вспомни-

те-ка время послевоенное, возможно ль было просуществовать иначе? И в ответ Силаев особо на своём не настаивает, скорее соглашаясь; и автор тоже далее не развивает наметившегося было противопоставления пролетарской и деревенской психологий. Силаев ведь по натуре труженик, и работоспособность тётчиного семейства, в общем, вполне уважает. Просто сам приучен существовать по принципу «жила бы страна родная», а особо заботиться о себе и близких попросту не привык. В результате, однако, самая искренняя забота о «дальних» приводит его к личному краху. (Принцип — отдавай всё ради общего блага, тогда к конечному итоге и тебе станет хорошо — в нормальных, не экстремальных условиях обычно почему-то не срабатывает; но тут лишь намёк на эту отдельную тему.) А тётца — что тётца? С одной стороны, она этому краху поспособствовала, фактически выжив непрокого (для семейного хозяйства) зятя из дому. С другой — разве не права она по-своему, желая пристроить своих детей в этой нелёгкой жизни как можно лучше, надёжнее; почему, собственно, должно быть наоборот? Теперь такой вывод напрашивается сам собой, но в те времена считался крамолой.

Впрочем, через год после «Тонкомера», в 1957 г., Можжев пишет повесть «Саня», уже не дававших критике повода для упрёков, — где молодая девушка, назначенная начальником дальнего железнодорожного полустанка, самоотверженно борется за правду и порядок на отдельно взятой территории. В результате чего побеждает и врагов, и обсто-

ательства, получает понимание у высокого начальства и с триумфом возвращается в свои владения. А её неудавшийся жених, больно приткий по части устройства своих личных хозяйственных дел, получает отставку, в результате чего прежняя его пассия вновь *«ушла к нему, и корову свою на верёвочке увела»*; вот и пусть, надо полагать, прозябают они отныне в узком и ничтожном своём мире...

Далее была «производственная» повесть «Наледь» (1959), версии которой, подобно версиям «Тонкомера», разнятся. Действие разворачивается на стройках Приморья. Главный герой, производственник Воронов, пытается предотвратить строительство рабочего посёлка близ оловянных рудников. Проектировщики отстаивают объект как высокоэкономичный, но экономить предполагается, в сущности, на живых людях: по плану, посёлок должен вырасти там, где наледь держится вплоть до августа месяца, солнце бывает летом по три часа в день, силикоз от близости рудников населению обеспечен и так далее. Во впервые опубликованном варианте повести (1961) Воронов со своим ходатайством доходит до председателя совнархоза, после чего появляются шансы, что отмены проекта он добьётся. В следующем варианте, опубликованном в 1970 г., он уже фактически ничего не добивается и демонстративно хлопает дверью, хотя конец повести всё равно оставляет место для приличествующей духу времени оптимистической надежды: *«К вечеру они уехали вместе с Катей... Уехали из Тихой гавани налегке, как уезжают*

для того, чтобы вернуться...»

В 1963 г. Можаяев, наконец, пишет первую по сути дела вещь, посвящённую непосредственно сельской жизни, где его взгляды на трудовые отношения, на коллектив и на ответственность, на колхозную форму производства и плановое социалистическое хозяйство предстают вполне определившимися и выраженными недвусмысленно. Это — повесть «Полюшко-поле». Тот факт, что призыв к кардинальным переменам в колхозной жизни мог открыто прозвучать в те годы, объясняется следующим образом. В пору хрущёвской оттепели, сопровождавшейся всевозможными экспериментами в разных областях жизни, в некоторых колхозах было допущено неслыханное дотоле дело: раздел земли и закрепление её за отдельными звеньями, чаще всего семейными, вместе с различной сельскохозяйственной техникой. Особенно часто применялось это на Дальнем Востоке — например, в Амурской, Хабаровской областях. В 1961 году Можаяев посвящает эксперименту очерк «Земля ждёт хозяина», который год спустя удаётся напечатать в журнале «Октябрь» (правда, цензурой было изъято последнее слово из названия). Успех — как самого эксперимента, так и пропагандирующего его очерка — был впечатляющим.

Но долго такое продолжаться не могло, и прежде всего потому, что быстро выяснилась полная ненужность и даже вредность львиной доли чиновно-бюрократической армии — «управленческой да надзирательской братии», по словам

автора. И тогда её *«верный слуга и кормчий Никита Хрущёв в начале 1962 года повёл наступления на луга, на клевера, на севооборот и, попутно, отвлекающим манёвром, задавил эти „ростки частной собственности“, то бишь хозрасчётные звенья да бригады на семейной основе»*. Однако *«почти все эти реформаторы были замордованы, задавлены за непослушание»* не разом, а постепенно, в течение ряда лет, так что Можаяев успел написать и опубликовать «Полюшко-поле» в 1965 г. Действие повести происходит в одном из больших колхозов на уссурийских землях. Когда сверху бросается клич — всем желающим закреплять земельные наделы за собой, дабы сеять, выращивать и убирать урожай самостоятельно, — картина предстаёт следующая. Одной части колхозников всё это уже ни к чему; другая часть, о которой сказано, что *«многолетний опыт приучил этих людей выказывать придирчивость и осмотрительность»*, раздумывает: *«Чего-то боязно. Кабы не обманули»* и, наконец, лишь немногие решаются охотно и сразу. К последним относится, в частности, семья Егора Ивановича Никитина (которая, кстати, родом из переселенцев с Оки — то есть, родных мест автора). В этом начинании её поддерживают племянница Надя, колхозный агроном, и Илья Песцов, который поначалу числится вторым секретарём райкома. Другие руководители, прежде всего председатель колхоза, парторг, а также более мелкое начальство вроде заведующих коневфермой, овцевфермой, бригадой счетоводов и тому подобных, принимают

эксперимент в штыки. Это ничуть не удивительно: если первому, замученному текущей работой, любые перемены только добавляют лишних проблем, а второй озабочен идеологическими соображениями («*Это пахнет автономией... Мы должны ограждать коллектив от духа частной собственности*» и проч.), то следующие всерьёз опасаются за свой устоявшийся образ жизни.

Взять, скажем, овцеферму, где «один охраняет, другой стадо гоняет, третий руководит, четвёртый учитывает... И никто ни за что не отвечает». Все участники такого трудового процесса, и в первую очередь те, кто *«руководит и учитывает»*, заняты исключительно одним: выполнением спускаемого сверху плана, точнее, как бы выполнением — то есть, манипулированием цифирью. Ситуация вполне знакомая, для её определения можно привлечь слова известного экономиста и публициста В. Селюнина: «В теории управления есть такое понятие: самодостаточная система. Когда организация берёт в свои руки непомерные управленческие функции, число администраторов рано или поздно достигает некоторой критической величины, и аппарат начинает работать сам на себя: верхи пишат — низы отписывают, все при деле. Реальная жизнь игнорируется, ибо она только мешает хорошо отлаженному механизму». Допустим, требуется стопроцентная сохранность ягнят; так как достичь этого практически нереально, то невыживающие просто не регистрируются, будто их не существовало, — и это обман ещё

вполне безобидный. Подобные вещи происходят везде, на всех без исключения полях и фермах. Дело, показывает Можаяев, не только в нелепости спускаемых планов самих по себе (невыполнение их — подчас вовсе не грех, ибо нередки, например, такие — досрочно посеять и досрочно убрать ту или иную культуру!), но в том, что нелепость эта окончательно раскрестьянивает народ, отучая его работать сколько-нибудь производительно; в том, что работников как таковых становится всё меньше, а «надсмотрщиков», понуждающих выполнять верховные распоряжения, — всё больше. Последних вполне устраивает такая роль, ею они дорожат. Вот рассуждение одного такого типа:

«Допустим, что дадим мы Егору ивановичу поле и обрабатывает он его хорошо. (...) Ведь кроме него попросят поля и другие звеньевые (...). А потом скажут: закрепите-ка за нами коров, лошадей и пасеки...

— Очень хорошо!

— А зачем колхоз создавали? — спросил Симаков Надю.

— А чтобы жить лучше.

— Не всякая хорошая жизнь подходит нам.

— Конечно, — согласилась Надя. — А вдруг при хорошей жизни вас заставят в поле работать?»

Следует заметить, что понятия «заставить», «спросить с него» и проч. являются тут ходовыми. О том, что, принципе, при нормальном положении вещей «заставлять» и «спрашивать» — совершенно ни к чему, каждый сам работает ра-

ди собственного интереса — не только речи, но даже мысли ещё быть не может. Самостоятельность допускается только в рамках колхозной системы и планового хозяйства. Но и такая куцая самостоятельность грозит устоям — начиная с того, что «свои» (закреплённые временно) поля мужики, к примеру, отказываются засеять тогда, когда велит председатель (*«Посею, когда земля прогреется!»*, и всё тут!), а, следовательно, тот лишается возможности отрапортовать о проведённом в срок севе. Следовательно, сверху его ожидает обструкция. Следовательно, вывод: *«Автономия, значит?.. Как же руководить такими мужиками?»*

Дальнейшее предугадать нетрудно. Кукуруза вымахивает на закреплённых полях невиданная, однако из вышеизложенных соображений её решено раньше времени пустить под нож, а семейные звенья — разогнать. Следует сцена «второй коллективизации» (первую и главную Можаяву описать только предстояло). И тут не сможет помочь даже заступничество и содействие сверху. Так, Песцов отказывается от райкомовской должности и предлагает свою кандидатуру в колхозные председатели. Он стремится дать людям вроде Никитина самостоятельность; людям же, по его выражению, «с семинарской логикой» — напротив, пытается противостоять. *«Они понимают: чем больше выбор у человека, тем ему труднее. И, главное, — управлять им труднее. И не верят они, что человек способен выбирать для себя то, что нужно. Не верят они ни в людей, ни в Бога, а верят только*

в себя, в своё всемогущество». «Руководящее звено», естественно, не дремлет, и, не в последнюю очередь благодаря его интригам, кандидатуру Песцова «прокатывают» на собрании. Заканчивается «Полюшко-поле» традиционной для тогдашнего Можаяева «лазейкой для надежды»: Песцов всё равно решает остаться в качестве рядового колхозника, дабы вместе с Надей и впредь пытаться отстаивать свои принципы в отдельно взятом хозяйстве... Вряд ли следует напоминать, какой горькой насмешкой по прошествии лет выглядит эта концовка.

Летом 1966 года в журнале «Новый мир» была опубликована повесть «Живой»; правда, по настоянию главного редактора Александра Твардовского ей тогда было дано другое название — «Из жизни Фёдора Кузькина» (по всей видимости, роль здесь сыграли цензурные соображения: мол, так, всего лишь случай из жизни, в коей чего только не бывает... потому не стоит делать далеко идущих выводов!).

Фёдор Фомич Кузькин — рядовой колхозник из села под названием Прудки (к моменту написания «Живого» Можаяев перебрался с Дальнего Востока на родину, и отныне героями большинства его произведений становятся жители Рязанщины) — вполне типичен тем, что в течение жизни его, если вспомнить известный анекдот, «не пробовали только дустом». Его биография включает и батрачество в молодости, и отсидку в 1937 году, и войну, принёсшую увечье, и послевоенный голод, и всевозможные притеснения от властей

предержащих. Всё это, однако, не только не ломает, но, кажется, лишь закаляет независимый, отважный характер. То, что зовётся покорностью судьбе — ему неведомо; напротив, любимая присказка Кузькина, прозванного на селе Живым: *«Судьба мне поставила точку... А я ей — запятую, запятую...»*

Через свой острый язык Кузькин попадает в немилость к председателю колхоза Гузенкову. Михаил Михайлович Гузенков — фигура типичного «выдвиженца»; до того, как сесть в Прудках в председательское кресло, он, *«кажется, все районные конторы по очереди возглавлял (...). И председателем райпотребсоюза был, и заведующим заготскота, и даже директором комбината бытового обслуживания»*. Под стать ему и председатель райисполкома по фамилии Мотяков, также из «выдвиженцев» (от чего, кстати, Кузькин в своё время отказался, хотя социальное положение позволяло). Вот с ними-то и приходится вступить Кузькину в неравное противоборство.

Для начала Гузенков отказывает ему в твёрдом окладе, оставляя на трудоднях. Последнее означает едва ли не голодную смерть, так как жена у Кузькина нетрудоспособна — потеряла здоровье на непосильной колхозной работе, детей — множество, а сам он за *«840 трудодней получил... 62 килограмма гречихи вместе с воробыным помётом»*. Ничего не остаётся, как заявить о выходе из колхоза. *«И опять — уйти из колхоза, а чего делать? Ехать на сторону, на за-*

работки ежели — не подынешься. Да и не пустят». (Можаяев описывает беспаспортную деревню конца пятидесятих годов, и Кузькин, соответственно, является крепостным советским крестьянином.)

Он пытается наняться в «вольные косцы» к соседям, способным оплачивать такую работу, — ему запрещают. Он пристраивается в лесники — у него собираются отобрать приусадебный участок. Узнав о том, Кузькин исхитряется распахать огород за ночь — его собираются сажать в тюрьму за «самовольный захват земли»... И так далее, и тому подобное. *«Словом, обложил председатель Живого, как борзятник русака. Сколько ни беги, а конец один — выдохнешься и упадёшь...»*

Но так как терять Кузькину уже решительно нечего, он продолжает борьбу. Будучи весьма проницательным, он понимает, что противостоять бюрократии можно только её методами, на её «бюрократическом поле». Кузькин отлично соображает, куда, когда и в каком духе следует отправить письмо-жалобу и какие именно аргументы могут подействовать на граждан судей. Знает и то, что закон, каким бы драконовским ни был, в его государстве часто сам по себе ничего не решает. Решает его носитель, конкретный представитель власти. А потому как и среди высокого начальства «люди попадаются», бойкий язык Кузькина не всегда является врагом его, иногда оборачивается и другом — ибо Кузькин не чуждается таких методов, как развлечение своим балагурством,

помогающим снискать у этих людей одобрение. И вот, в результате, пройдя всевозможные перепетии, он сумеет-таки отвоевать свои малые, элементарные права — право работать там, где хочется, право кормить детей. Право на родной огород...

Так это происходит в деревне; а что же в городе? Об этом — другое произведение Можаяева — повесть «Полтора квадратных метра» (1970). В качестве её главного действующего лица выступает скромный Павел Семёнович Полубояринов, *«зубной техник и член домкома»*. Прославился он тем, что, как будет сообщено населению в районной газете, *«Прикидываясь неким правдолюбцем, Полубояринов строчит письма во все инстанции со своими бредовыми проектами и тем самым треплет государственным людям нервы. То ему, видите ли, мост понадобился через реку, то захотелось торф копать, то у нас луга не там распаханы, то он грязи лечебные открыл в Пупковом болоте. И всех обвиняет в том, что мы якобы не используем ресурсы»*.

Кстати, никакой маниловщины тут нет и в помине: дело в том, что Павел Семёнович просто имеет возможность почитать на досуге о славном прошлом своего городка в энциклопедии Брокгауза и Эфрона, а потом сравнивать его с настоящим. Выводы получаются неутешительными. Однако не широтой и размахом своих предложений суждено будет ему «достать» государственных людей, а прошением самым что ни на есть прозаическим. Суть дела заключается в том,

что полубояриновский сосед по коммуналке, некто Чижонек, имеет обыкновение напиваться в стельку и укладывается спать прямо под его дверь; дверь же установлена таким образом, что открывается только наружу — то есть, куда Чижонек не изволит пробудиться, хозяева оказываются в своей комнате, как в ловушке. Полубояриновы мечтают лишь об одном — сделать так, чтобы дверь могла открываться внутрь (тогда можно было бы спокойно перешагивать через соседа и отправляться по своим делам). Но из-за особой притолоки необходимо «отнести её метра на полтора по коридору» — то есть, захватить полтора метра общественной территории. На что нужно специальное разрешение горсовета. «Идиотизм советской жизни» состоит в том, что эта проблема оказывается практически неразрешимой. *«И пришлось Павлу Семёновичу на время от общего дела отступить и взяться за личную линию. Забросил он свои научные проекты насчёт торфа, патоки, сапропеля, бурого угля и даже про черепичных специалистов из ГДР позабыл; а пошёл он по инстанциям искать свою узкую, голую правду (...)* И понесло его, и закружило ...»

Обычный гражданин, будь он трижды прав в своих скромных притязаниях, бессилен чего-либо добиться, если на него ополчается вся местная власть в лице исполкома, милиции и так далее. Однако Полубояринов оказывается довольно упорным человеческим экземпляром. Подобно Кузькину, он воюет с бюрократией её же методами — у него даже «заве-

дено целое дело, все жалобы и ответы на них, фотографии, акты — всё аккуратно подшито и пронумеровано; хранятся почтовые квитанции, железнодорожные билеты, автобусные и даже квитанции телефонных разговоров, связанных с разбором жалоб...»

Если Кузькину приходилось воевать с властью едва ли не за собственную жизнь — ведь она намеревалась оставить его без всяких средств к существованию, то Полубояринов так объясняет своё отчаянное упорство: *«Тут главное дело не в том, большая обида или малая. Спуску давать нельзя, вот в чём принцип. Ежели ты видишь несправедливость и миришься в душе своей, ты как бы в роли некоего соучастника находишься. Это вроде греха: не страшен грех, совершённый перед Богом, а страшно, когда не замечают его (...) Ведь дурной пример заразителен...»*

Полубояринов добивается своей *«узкой, голой правды»* ценой невероятных потерь: времени, нервов, сил, здоровья. Но результат — не только в том, что дверь перенесена на эти самые полтора квадратных метра, и даже не в том, что сильно превысившие свои полномочия чиновники наказаны (пусть и относительно). Главное, что через все «шекспировские страсти» ему удаётся отстоять свою принципиальную позицию, а, следовательно, не потерять самоуважения. Можжев постоянно, из произведения в произведение, подчёркивает приверженность «ярму закона» (ибо реальность такова, что в противном случае обществу уготован отнюдь не «кров

благодати», но окончательный хаос, упадок и разрушение), а борьбу с беззаконием считает необходимой нормой. Если эта норма столь труднодостижима, а часто недостижима вообще, то вывод напрашивается сам собой: такое государство, такое общество никак нельзя назвать здоровым. Поскольку призывать к коренному реформированию — во всяком случае, легально — не представляется никакой возможности, остаётся лишь пытаться требовать от власти соблюдения хотя бы тех законов, которые она сама (без советов и санкции народа) издавала. Многие правозащитники (диссиденты) того времени, кстати, ставили своей целью именно то, чтобы власти не нарушали Конституции СССР, где и впрямь провозглашалось немало замечательных вещей. Но не только власть не желала считаться с законами; как было показано ещё в «Тонкомере», обычно в их исполнении не слишком заинтересованы и рядовые граждане. Начальство нарушает по-крупному, народ — по мелочам, всех так или иначе это устраивает... И всё бы ничего, если бы не гибла при этом природа, не разрушалась потихоньку экономика, не страдали лучшие люди — честные, сознательные, не устающие искать правду. Так, в детективной повести «Пропаж свидетеля» (1969) при розыске убийц учёного Калганова, спасателя тайги, следователь приходит к выводу: *«Они же его ненавидели за то, что он требовал жить по закону. И заготовители, и леспромхозовцы, и браконьеры, и чёрт знает кто»*.

Много ли было в действительности кузькиных и полу-

бояриновых, способных в одиночку противостоять государственно-бюрократической машине советского образца и даже побеждать её? Вероятно, один такой случай приходился на многие тысячи, но Можаяева, кажется, не столь волнует подобная статистика. Ему важно продемонстрировать, что есть ещё, в принципе, такие люди — будь то едкий мужичок по прозвищу Живой, или смешной наивный дядечка Полу-бояринов, или мрачная замкнутая старуха из рассказа «Старича Прошкина» (1966), что единолично существует на пятнадцати отвоёванных у колхоза сотках, не прося ничьей помощи, а лишь желая, дабы все оставили её в покое; глядя на которую, автор дивится *«той безграничности человеческого упорства, порождённого любовью к независимости»*.

«Откуда есть пошли» такие типы, кто они — вечные одиночки, изгои, либо, наоборот, остатки мощного племени свободных людей, изведённых историей под корень? Центральное произведение — роман-диалогия «Мужики и бабы», где просматриваются ответы, ещё написан не был. Зато была «История села Брёхова, писанная Петром Афанасьевичем Булкиным» (1968), где устои колхозной жизни, её быт и нравы поданы не столько даже сатирически, сколь юмористически.

Повествователь Пётр Афанасьевич Булкин — «выдвиженец», представитель славной плеяды бессменных руководителей, побывавший и директором маслозавода (покуда не проворовался и не пошёл на повышение), и колхозным пред-

седателем (покуда «не попал под кампанию: кто из председателей не окончил ЦПШ, ШКМ или хотя бы ШКШ, увольнялись»), и председателем сельсовета (покуда, наконец, не отправили на пенсию). К моменту написания мемуаров он — «человек заслуженный — персональный пенсионер» («Иногда парторга замещаю. Людей уму-разуму учу...»).

«Настоящая история села Брёхова, — объясняет Булкин, — началась только при советской власти. А до революции какая была история? Одни пьянки по религиозным, да по будничным дням работа». И далее сообщает: «В годы нэпа было два трактира, три чайных, две булочных, одна колбасная да двенадцать лавок. Всё это происходило от нашего бескультурья. Таперика от этого наследия прошлого не осталось и следа».

Булкин повествует о житье-бытье родного села, перемежая рассказы о своей «трудовой автобиографии» («Как я выдвинулся», «Как меня судить хотели», «Про мою личную жизнь») с философскими размышлениями на тему «Кто такие оппортунисты» или «О том, как надо навести окончательный порядок». Благодаря его изложению история со всеми её «перегибами» предстаёт не страшной, не грустной, а до смешного нелепой. Например, о своём любимом наставнике он вспоминает так: «Его поп на церковной площади проклял. «Кто, — говорит, — из церкви свинарник сделает, того Бог в свинью превратит». Попа самого ликвидировали, а Самоченкова судили за перегиб. (...) Судья спрашивает его:

— С какой целью ты это сделал, Филипп Самоченков?

— Гражданин судья, — отвечает Филипп, — хотите верьте, хотите нет, но делал это я без цели. Одно моё усердие, и больше ничего...»

Но конец у «Истории» опять же обнадеживающий: у руля колхоза оказывается некий Петя Долгий, человек уже новой формации, который начинает демонстрировать пример «мещанского, местнического, националистического подхода к строительству светлого будущего», то есть попросту думает не о перевыполнении плана, а о конкретном улучшении жизни колхозников. Районное начальство в лице известного по «Живому» Мотякова (Брёхово и Прудки расположены рядом, «под одним Богом ходят») разгневано: «Ты колхозников ставишь на первое место, а государство на второе. Отстраним!» Но Петя упорствует в своих опасных заблуждениях, в результате чего Булкин, размышляя в духе Фукуямы лет за двадцать за явлением сего философа, с прискорбием сообщает: «Колхоз встал на ноги. Для него всякая история кончилась. Потому как история есть борьба».

Но ничего, разумеется, на этом не кончается — в «Мужиках и бабах», в последнем романе «Изгой», в пьесах, рассказах и очерках Можаяева она прослеживается заново и продолжается дальше — история Брёхова, Пителина, Тихонова и прочих реальных и вымышленных сёл, деревень, городков... Хочется верить, как хотелось верить самому писателю, что будет она длиться и длиться, перебарывая всё, включая ны-

нешнюю турбулентность, — ибо те, право же, на веку своём и не такое видавали.

Борис Можаяев: Хозяева и работники

Роман Бориса Можаяева «Мужики и бабы» выходил двумя книгами по отдельности — первая была опубликована ещё в глухие застойные годы, вторая — в 1987-м, перестроечном, году. С этой второй частью, где впервые перед неискушённым читателем предстал кошмар «Великого перелома» — насильственной коллективизации крестьянских хозяйств 1929—1931 годов — многие ознакомились как с отдельным самостоятельным произведением.

После издания второй части «Мужиков и баб» полностью были напечатаны и другие произведения на ту же тему — в первую очередь следует упомянуть продолжение «Канунов» Василия Белова, так и названное им — «Год великого перелома». Хорошо помнится, какой шум, если не сказать шок, вызвали все они тогда — повествующие об этой ранее почти не затрагиваемой в литературе стороне преступлений большевизма (до той поры огласке предавалась в основном тема 1937—38 годов). Однако — увы! — следует признать: у нас чем сильнее эмоциональный всплеск, тем вернее последующие равнодушие и забвение; и вот, мало-помалу эта тема в печати стала затихать, и ныне уже не редкость высказывания совсем иного толка. Так, не переводятся рассуждения о том, какой исключительный коллективист по натуре русский крестьянин: мол, несмотря на нехорошие перегибы при установ-

лении колхозного строя, тот был ему впору и во благо. Один именитый диссидент-эмигрант, в детстве на себе испытавший прелести колхозной принудиловки, утверждает, что изменил своё прежнее мнение на сей счёт и вот теперь не сомневается: прав был товарищ Сталин, не было у него другого выхода, как взять эту косную массу в крутой оборот. Ибо к чему ей дары свободы — стричь её подчистую надо, а частью и резать на горе всем буржуйам и на благо гигантским индустриальным проектам. А многие вполне либеральных и демократических устремлений господина считают, что и до революции, и во время нэпа крестьянин был дик и нищ, хозяйство имел отсталое, и, что-то же, мол, с этим всё рано делать было надо...

Поскольку, как известно, у нас любят все точки зрения, кроме взвешенной, то на вопрос, что же в действительности представляла собой прежняя Россия, ответа обычно два: «Мы потеряли самую богатую, могучую (и т. д. и т.п.) страну на свете» и «Страна была тёмная, отсталая (и т. д. и т.п.), имя ей Азиопа». Автору данной статьи представляется, что любое однозначное определение такой огромной, многоликой, сложной, разной страны, как Россия, будет неточным и даже ложным. Как пелось в песенке, неважно что о другой державе: «Назвать её могла я / Одним коротким словом, / Но слишком уж большая / Для этого она». В России, и убогой, и обильной, в различных её частях, краях и весях, при непохожих подчас укладах и обычаях, при иногда существенно

неодинаковом жизненном уровне, в 1920-е годы имелись, по-видимому, и разные тенденции развития. Что бы в конечном итоге возобладало в условиях развития нормального, естественного, без скачков и переломов, без давящей единственно верной идеологии — можно спорить. Такие произведения, как «Мужики и бабы» или те же «Кануны», являются хорошей информацией к размышлению.

Не потому ли, перечитывая «Мужиков и баб», ловишь себя на мысли, что первая часть кажется теперь даже интереснее и важнее второй. Ведь там дана картина нормального положения вещей до катастрофы 20—30-х годов; того, как жила, работала, чего хотела деревня именно здесь, в сердце России (в отличие, скажем, от вологодского севера «Канунов»), не так далеко от Москвы, с одной стороны, и от Волги — с другой.

Итак, 1928 год на Рязанщине. Позади революции и войны, включая гражданскую, на которой воевало большинство героев романа; воевало, как известно, за землю — и получило её. Позади и так называемый военный коммунизм с его так называемой продразвёрсткой (т.е. изыманием любых, даже самых ничтожных, излишков либо произвольно названных таковыми); теперь последняя заменена щадящим продналогом. Пока на дворе — нэп (новая экономическая политика). Ещё колхозы — только добровольные, снизу созданные, да и тех немного; зато — разгул артелей, прежде всего строительных.

«На месте осиновых да берёзовых потемневших от времени изб с соломенными крышами... появились красные кирпичные дома с высокими цоколями из тёсаного белого камня; вместо земляных да глинобитных подвалов выросли кладовые с железными крышами; улицы камнем замостили, мосты перекинули через овраги (...) мужикам воля — стройся, работай, торгуй на всю катушку». Ещё всюду шумят ярмарки, столы в трактирах и избах по праздникам ломаются, девки благоухают духами «Букет моей бабушки»... Ещё некий помещик Скобликов, своей усадьбы хотя и лишённый, живёт-однако-не тужит, занимаясь крестьянским трудом да тележной артелью; причём в компенсацию за потерю ему свои же мужики всем миром дом поставили: «*не обессудь, Михаил Николаев... Живи на здоровье*». А бывшая капиталистка Каширина, пусть и отобрали её паточный завод, держит в своём большом доме квартиранток-учительниц, гоняет чай на веранде с видом на фруктовый сад да липовую аллею и в ус себе не дует... Ещё чувствуют себя пока в силе мужички, и чуть что не так, вопрошают: «*Дак мы хозяева или работники?*» — с полным правом подразумевая первое...

Но уже сгущаются тучи, и всё время летят из центра на места грозные директивы, а с ними — выколачивание хлебных излишков, добровольно-принудительные займы индустриализации, постоянное увеличение налогов, и без того удушающих торговцев, ремесленников, зажиточных крестьян...

Но уже усиливаются гонения по признаку социального

происхождения, и сетует тот же Скобликов — зачем надо было ему, дураку, усыновлять своих незаконнорожденных детей, никуда им теперь ходу нет с анкетой, где в графе «происхождение» стоит «из дворян»; а Дмитрия Ивановича Успенского, одного из главных героев романа, по приказу свыше устраняют от руководства артелью как поповского сына...

Но главное слово, которое носится в воздухе, — это «борьба». Борьба с религиозным культом, с частнособственническими инстинктами, с кулаком как классом...

На таком фоне и протекает жизнь семьи Бородиных, Андрея Ивановича и Надежды Васильевны. Невольно сравнивая их с беловскими Роговыми из «Канунов», отмечаешь следующее. Общего у них много: и те, и другие — типичные середняки, обходящиеся в хозяйстве без наёмной рабочей силы. Обе семьи, сообразно своему времени, не малы и не велики — по семь-восемь-девять человек. Авторы, безусловно, не скрывают своих тёплых к ним чувств, если не сказать любования, но если с «беловского» семейства — отца, матери, дочери, зятя-примака и так далее — впору писать иконы, настолько оно из себя ладное, то у Можая отнюдь не всё гладко — и кажется более реалистичным. (Предвидя упрёки, хочется заметить, что мы вовсе не склонны утверждать с уверенностью, будто Белов чересчур идеализирует своих героев. Например, молодой писатель Алексей Варламов, недавно побывав в тех местах, в своём интервью говорил, что до сих пор там можно встретить характеры, типич-

ные для «Канунов»; можно допустить, что так оно и есть — специфика русского Севера...)

Что ж, Можаяев повествует о других краях и нравах, где, как видно, правда жизни будет посуровей. Так, у Бородиных, дружных и трудолюбивых, старший сын Федька носит прозвище Маклак, то есть плут, озорует напропалую и, в конце концов, даже становится причиной гибели Успенского. Одна из своячениц «самоходкой» уходит к бородинскому недоброжелателю, некоему Сенечке Зенину, да ещё по его наущению в самый неподходящий момент требует со своей семьи отдать в пользу государства свою часть урожая (не ею собранного). Другая свояченица, Мария, не слишком блюдет семейную честь... Это всё — жизнь такая, как есть; Можаяев не склонен ничего не приукрашивать, не очернять, не, тем более, морализировать.

Мужики у него — отнюдь не ангелы. Пьют горькую, выражаются. Драки — не редкость, воровство тоже. Изображены и пьяницы-попы, и страшные суды над конокрадами. Но и другое налицо. Нельзя, скажем, не заметить неплохой образовательный уровень. Тот же Андрей Иванович Бородин не только Евангелие да журнал «Сам себе агроном» — он ещё и наставление скотоводам по-немецки почитывает (очень просто — побывал в германском плену в Империалистическую, там и выучился). Да и не одно только сельское хозяйство на уме, тут и прессой текущей не гнушаются, ведь и происходящее в мире большом небезразлично:

«— Говорят, Чемберлен нам какой-то всё время грозит.

— Вот спохватилась, милая... Чемберлен отгрозил своё. Теперь в Англии правит Макдональд.

— А, хрен редьки не слаще».

В этих местах, как видно, ещё до революции благодаря земствам всевозможные учебные заведения (да и больницы) экзотикой не были. По ходу повествования то ремесленная школа упоминается, то школа юнг с механическим уклоном (Волга-то рядом), то коммерческое училище... И если у Белова, скажем, можно встретить сцену, где девахи лет по восемнадцать-двадцать учатся в ликбезе элементарно читать по слогам, то у Можаяева трудно представить что-то похожее. Здесь и до революции крестьянскую дочь со способностями могли после местной школы отправить учиться дальше — та же Надежда Бородина лишь по стечению обстоятельств не попала в уготованное ей учителями да родственниками реальное училище; зато её младшая сестра Мария закончила гимназию, затем вуз и представляет уже свою нарождающуюся сельскую интеллигенцию. Тут вообще, надо сказать, жизнь и быт гораздо менее патриархальны, нежели на «беловской» Вологодчине, причём, и в самом буквальном смысле — имея в виду положение женщины.

Вспоминается, как после выхода второй части «Мужиков и баб» на страницах одного красно-патриотического издания прозвучало: и чего, мол, этот Можаяев может понимать в мужиках и бабах, писал бы лучше о флоте, где прослужил

столько лет!.. И развесёлый ответ со страниц здания демократического, напомнившего, что практически все на свете авторы от Гомера до наших дней пишут, в сущности, о мужиках да о бабах — ибо про кого же, собственно, ещё писать?

Шутки шутками, а название роману, думается, дано не случайно. «Бабы» в здешних «трудах и днях» играют роль отнюдь не второстепенную. У Можаяева они часто являют собой образцы самостоятельности, находчивости, предприимчивости. Удивляться тут нечему — русская крестьянка, ещё воспетая Некрасовым, всегда была, да простится невольный стилистический выверт, прежде всего рабочей силой, сильной работницей, в чём её главная ценность. Но в описываемый Можаяевым период важную роль играет и тот факт, обычно почему-то не принимаемый во внимание, что, каковы бы большевики ни были, всё-таки благодаря им земля после революции была поделена по справедливости, то есть по количеству едоков в семье. До этого женщина, как известно, активно трудилась всю свою жизнь, принимая участие во всех или почти всех сельскохозяйственных работах — но общинная земля на неё не выделялась.

Теперь же каждая получила в собственность свой земельный пай, что не могло не поднять и не укрепить её социальный статус (так, даже в описанном в романе общинном сходе, некогда чисто мужицком мероприятии, уже принимает участие некая Тараканиха: « — *Тараканиха у нас за всех баб*

рассчитается. / — Попрошу без выпадов на личное оскорбление!..»).

Заработок, а с ним самостоятельность и уважение, впрочем, давала не только земля, но и другие занятия. В романе можно встретить такие, к примеру, сведения: «А мать у неё... портнихой была. Не последний человек на селе. А тётка — кидай выше! — в монашках числилась». Появились уже и свои служащие — фельдшерицы, учительницы и т. п.

Не потому ли в результате женские характеры у Можаяева почти сплошь (в отличие опять-таки от беловских, обычно на диво скромных да послушных) сильные, яркие: «Царица — баба решительная и на руку скорая», «Фешка... компанейская, уважительная, не из робкого десятка»; о Марии сказано, что «от лица её веяло силой и открытой самоуверенностью» (именно такой впервые увидел её Успенский, тут же не преминув влюбиться) и что даже начальник испытывает перед ней «какую-то постыдную утробную робость».

А уж сестра её Надежда — воистину «атаман», как называет её супруг. Проводив его вскоре после свадьбы на Империалистическую войну, она говорит себе: «Ну, что ж, в любви не повезло — деле своё возьму». И становится, как это назвали бы ныне, челночницей — с той лишь разницей, что за товаром тогда ездили не за море, а в Москву или в Нижний. Преуспевает. «Капитал сколотить мечтала да лавку открыть. Не повезло, поздно надумала. Пришла вторая ре-

волюция, и деньги лопнули». Затем — нэп, и снова ей не сидится: «Размечталась... / — Коров разведём, сепаратор купим... Масло на станцию возить будем... А там свиней достанем английской породы... Только старайся».

Читая об этом, или о неких братьях Ключевых, что богатели постепенно, от ничтожной прибыли по копейке с перепроданного пуда хлеба, и всё то богатство опять же вкладывали в дело (в шерстобитку, в молотилку, кирпичную мастерскую), или о многих других мужиках, ловко сколачивающих крепкие артели, — нельзя не прийти к выводу, что все эти нынешние публицисты славянофильской, да, впрочем, нередко и либерально-западной направленности, не устающие утверждать, что русскому православному сознанию изначально не присущи ни предприимчивость, ни стремление к приобретательству, ни чрезмерный трудовой энтузиазм, — по меньшей мере преувеличивают.

Быть может, нетипичные какие-то черты выискивает Можаяев в гуще русского крестьянства? Но тогда, если хорошо подумать, откуда бы это могли взяться у презирующего всякое накопительство народа поговорки да присказки вроде «Будьте здоровы, живите богато», «Стали жить-поживать да добра наживать», «Посмотрит — рублём подарит»?.. И что тогда делать с некрасовскими «Раньше людей Ермолай подымается, позже людей с полосы возвращается. / Разбогатеть ему хочется пашнею...», с «Кабы нам зажить, чтобы свет удивить» — и не повышенной какой, заметим, добродетелью

удивить, а тем, «Чтобы деньги в мошне, чтобы рожь на гумне, / Чтоб шлея в бубенцах, расписная дуга, / Чтоб сукно на плечах, не посконь-дерюга» и т.д.? А если вспомнить Дарью из поэмы «Мороз, Красный нос», представляющую так восхищавший Некрасова «тип величавой славянки», то не нами первыми замечено, что живёт-то она подобно, прости господи, протестантке какой: *«Она улыбается редко. / Ей некогда лясы точить. / У ней не решится соседка / Ухвата, горшка попросить... / В ней ясно и крепко сознание, / Что всё их спасенье в труде, / И труд ей несёт воздаянье: / Семейство не бьётся в нужде...»* И даже: *«Не жалок ей нищий убогий: / — Вольно ж без работы гулять! / Лежит на ней дельности строгой / И внутренней силы печать»*.

Возвращаясь к Бородиным и к вопросу о собственности, можно сказать, что их отношение к ней можно определить, как: «чужого нам не надо, но и своего не отдадим». Краткая иллюстрация: *«Свекровь видит — вольную взяла баба... (Это — период успехов Надежды в „челночном“ деле. — Д.В.) Ну к ней: — Деньги с выручки в семью! / — Нет, шалишь! Я и так за двух мужиков ургучу... Кто пашет, кто косит, кто стога мечет? Я! Так вам ещё и деньги подай. Дудки! Дураков нет! / — Ладно, девка, торгуй, если оборот умеешь держать... Только возьми меня в пай! / — Давай!...»*

А вот описание кротчайшего, можно сказать, Андрея Бородина во гневе на конокрада: *«— Я его и под землёй найду! — вспыхнул Андрей Иванович и засверкал глазами. —*

И вырву этот кусок вместе с зубами. / (...) мужик как мужик: благообразный, с холёными усами, с узким, иконописного овала, лицом... Сверху глянешь — учитель... И вдруг такая тёмная животная ярость? / — Вот что она делает с человеком, эта частная собственность...» Последние слова принадлежат, между прочим, профессиональному ворю; хотя могли бы — и любому представителю тогдашней власти. Ну, так что ж — они кобылу не растили, не кормили, пахать не собираются... Где ж им, спрашивается, понять?

...Следует, впрочем, отметить, что собственность собственностью, но общинный уклад жизни в основном сохраняется. У Можаяева он описан объективно, без идеализации и охаивания, со всеми плюсами-минусами. Андрей Иванович — и тот определиться не может. *«Будь у него выдел, то есть все пять десятин вместе, он бы давно... от трёхполки отказался».* Ведь *«земля уходит, иссушается с каждым днём. А ничего не поделаешь, не выделишь своё поле из парового клина, не вспашешь... Тут такой шум подымут... Заключают».* И в то же время *«жить на отшибе бирюком не хотел, натура не выдержит одиночества».* Ведь: *«Что ни говорите, а хорошо жить на миру! Не соскучишься!»*

Дилемма, как при Столыпине. Приходится изыскивать некие компромиссные формы хозяйствования. Отправляясь на общие сенокосные луга, Андрей Иванович объясняет своему Федьке: *«Надо, чтобы у каждого хозяина был свой участок, хотя бы года на три. Он его и от кустарника почи-*

стит, и кочки срежет, и сорняки вырвет. А если луга сплошняком пустить — заговрают, потому как Иван будет надеяться на Петра, а Пётр на Панфила... / — Папань, а вот в газетах пишут — колхозом работать веселее. / — Работать не плясать. Что за веселье?»

Идея колхозная в воздухе носится. Но покуда (повторяем, 1928 год ещё на дворе) агитировать Андрея Ивановича приходят лишь бедные и невезучие мужики — сами, без приказа свыше. Сулят с наивной непосредственностью: *«Ни тебе налогов, ни обложений. Не бойся, что лошадь угонят или корова сдохнет. Всё общее, и никаких забот»*. Бородиных такие перспективы, естественно, не прельщают, и они вежливо отказываются. Однако встаёт резонный вопрос: а что же, в самом деле, делать с бедняками, а *«как насчёт маломощных хозяйств и престарелых лошадей»*?

Председатель сельсовета Кречев на бюро райкома партии предлагает свой план, направленный на то, чтобы *«к концу пятилетки от бедняцких хозяйств освободиться полностью»* — частично за счёт выделения беднякам подъёмных для отъезда желающих на стройки, частично за счёт обучения оставшихся ремёслам и вовлечению их в промысловые артели. (В этом, кстати, и косвенный ответ Бородину на его беспокойство о своих детях — что, мол, им, пятерым, делать в одном небольшом хозяйстве? А то и делать, что всегда делалось в мире при постепенной трансформации аграрных государств в индустриальные: одному-двоим хозяйство

унаследовать, остальные подадутся кто в рабочий класс, кто в предпринимательство, а кто-то, возможно, выучится в интеллигенцию...)

Но Кречеву быстренько разъясняют, что он является коммунистом-сращенцем и коммунистом-примиренцем в одном лице, что его ересь — это канитель с буржуазной подкладкой, что теория постепенного выравнивания бедноты — оппортунистическая теория и, наконец, что *«всю бедноту можно враз выровнять только всеобщей коллективизацией»*. В общем, как в известном анекдоте, одни хотят, чтобы не было бедных, другие — чтобы не было богатых. Печально звучит сей анекдот в свете последующих событий...

Эти последующие события, конкретно — первый этап сплошной коллективизации в отдельно взятом районе, подробно описываются во втором томе «Мужиков и баб». Чередой сцен раскулачивания, то есть разорения и разгрома крепких хозяйств, с выкидыванием детей и старцев на мороз в чисто поле, с арестами, депортацией целых семейств, распродажами тяжко нажитого добра с молотка за бесценок, с ритуальными сожжениями икон и прочими дикостями поражает прежде всего абсурдом происходящего — ведь уничтожение ценностей материальных (не говоря уже о людских!) идёт вроде бы во имя укрепления и усиления державы перед лицом её врагов, но что же тогда, в сущности, может быть нелепее?..

Всё это проводится в жизнь в результате чёткого следова-

ния прочерченной наверху линии, но чьими руками проводится? Если посмотреть внимательно, то все самые бедные, маломощные, безлошадные в описываемое время отнюдь не забиты, не заброшены — наоборот, собраны в специальные комбеды, где выносят по своему усмотрению решения о обложении своих зажиточных односельчан дополнительными «оброками»; сами же ни налогами, ни госпоставками не облагаются, на общественные работы не привлекаются, от начальства им — всё внимание, не зря во вполне ещё безобидной частушке поётся: *«Хорошо тому живётся / Кто записан в бедноту — / Хлеб на печку подаётся, / Как ленивому ко-ту»*... (А уж классическим маргиналам только и забот, что о бутылке самогона — им точно не до классовой борьбы.)

Так вот, на разгром крепких и сильных, во многом за счёт которых беднота и существует (а вовсе не наоборот, о чём не устаёт кричать пропаганда), её надо ещё суметь хорошо подбить и организовать. Лиц, которые ревностно этим занимаются, в романе описано немало; за их бешеным энтузиазмом стоит разное.

Скажем, Сенечка Зенин, секретарь местной партячейки, натура болезненно честолюбивая, никак не может простить деревенским, что не снискал у них уважения — его ведь, пришлого (бывшего детдомовца) с претензиями, поначалу *«били и в передний угол не сажали»*. А вот бедняцкий активист Якуша Ротастенький — этот ненавидит *«всех вместе и каждого в отдельности»*, ибо богатств нажить не сумел, а

в «чужом кармане денег всегда больше, чем в своём». Или — учитель и активист Бабосов, которого занесло в эти края аж из Питера — тоже в душе мужика ненавидит, будучи не в силах забыть своих унижений, когда в 20-м голодном году был вынужден бродить по деревням, безуспешно пытаясь выменять на хлеб отцовский мундир. *«Диктатуру помогали установить? Вот и расхлёбывайте эту самую диктатуру!»* — вырывается у него, когда его пытаются упрекнуть в жестокости.

Даже агитатор Ашихмин — вроде бы бескорыстен, «идеен», ничем особо не обижен — и тот, как выясняется, закомплексован своим купеческим происхождением. Хоть и «порвал», и отрёкся, и отказался — а всё равно вынужден доказывать и доказывать свою приверженность диктатуре пролетариата — отсюда и псевдоним «Неистовый»... Ну, и прочие разные неистовые, схожие в одном: сами не работают, а лишь разрушают, отбирают и распределяют. (*«Граждане односельчане! Довольно заниматься пьяным угаром и тёмным богослужением! Сегодня день революционной самокритики, коллективизации и праздник урожая. / — А ты его собирал, урожай-то? Ты в совете семечки щёлкал*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.